

Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена

И.А. Бунин

Интерес к стихотворным портретам, созданным известным русским поэтом Владимиром Петровичем Скифом и собранным в его двухтомнике «Древо с листьями имён», — лично у меня — огромен!

К сожалению, об этом труде написано предельно мало, хотя двухтомник получил самую престижную из писательских премий — Большую литературную премию Российской Федерации.

Да ещё прекрасный русский поэт из Краснодарского края Юрий Брыжашов написал о двухтомнике следующее:

«Передо мною две книги «Древо с листьями имён», выпущенные совсем недавно Владимиром Скифом. Учёные бы сказали, что это фундаментальнейший труд, литературоведы добавили бы: огромный по объёму, по охвату материала и глубине содержания — труд литературный, поэтический, в силу этого — втройне ценный.

Труд, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ: 350 персоналий на семистах страницах текста. Настоящий творческий подвиг — без всякого преувеличения. Не просто поэтическая энциклопедия, но энциклопедия самой жизни, Большой жизни...»

Подобные чувства вспыхивают с первых строк каждого поэтического рисунка, эскиза или «акварели», когда ждешь не только яркого, лаконичного выражения идеи личности, «рассеянной по отдельным движениям и мгновениям жизни». Созданный Автором образ, его идея — не всё: в стихотворном портрете как бы заодно или «случайно» мелькает и мировоззрение Автора, его отношение и к образу, и вообще к бытию. Для претворения замысла Автор применяет символ, подтекст, акцент, метафоры, аллюзии, «прыжки» (нечаянную связь материй, идей, порядок строк), особенную мелодию. Не забывая, что поэзия — «озарённая неясность», автор Скиф создаёт изящные, мудрые произведения, исполненные высокими энергиями красоты, глубокими чувствами и раздумьями о судьбе Родины. Они неизбежно войдут в культурный код нации, станут классикой...

*Чтоб от московского Кремля
До северного свея
Сияла Русская Земля
И Русская Идея!*

«Древо» — это пространство, где байкальский Беллерофонт на крыльях поэзии пролетает дистанцию от Сотворения мира до цифровой цивилизации, приземляясь в стане избранных. Святые, богатыри, Александр Невский, служители муз, цари и партайгеноссе, друзья поэта. «Древо с листьями имён», но листья — разного достоинства, украшены по-разному: бриллиантами, изумрудами, лазуритами... а иные — черные, усохшие, без украшений...

«Стих есть высшая форма речи», когда сотворён с чувством, отчетливой мыслью, внутренним напряжением. Автор дарит именно такую поэзию: она полновзвучна, звенит «скрипками хорая, гонгом дактиля», многоцветными мелодиями, заставляя волноваться, вскипать благородной яростью, улыбаться, лить слезы. Он увлекает читателя в путешествие, и тот легким шагом следует за ним, вожделем, однако, не поссориться в дороге, ибо в долгих странствиях бывает всякое. В пространстве-времени «Древа» приходится двигаться по необычным траекториям, а они, причудливо сочетаясь, творят неожиданности: любимые поэты, прозаики, живописцы, громадные личности в разнообразных ипостасях... И вдруг — вуйки, лихо одноглазое, кот с примусом! «Зачем? — вопиет читатель. — Зачем на этой роскошной шелковой бумаге, в Ковчеге красоты и гениев?». Но так решил величайший Парнасец: всякий русский должен ведать о том, кем созиждено, кем поругано и погублено. Паче того, читатель, наслаждаясь одной светозарностью, может и заскучать.

Гудит Вселенная, кипят страсти, сияет гениальность, «крылышкует» страст-

ное, задумчивое, задорное, остроумное, печальное... одна за другой летят стрелы изречений и афоризмов. «О, Русь! Ты гением воспета!». Каждый персонаж — воплощение свойственной ему, персонажу, идеи. Ломоносов — кодовое имя, идеал, символ, высшая гениальность, универсал, «наше всё»... Что может изречь наш современник о Гении гениев в науках, в красноречии, в истории «старобытных жителей» России? Что выбрать? «Неложные доказательства величества и древности славянского племени» — война с Миллером, Байером, Шлёцером? Схватка с Миллером-Шумахером, не желавшими «расширения наук в отечестве»?! Битва против засилья иностранцев в науке? Что из громады ипостасей Михаила Васильевича особенно злободневно в наши дни? И Автор увидел то самое, соединяющее все алмазные грани Ломоносова, боль за Отечество:

*Ходят смерчи по русской Отчизне,
Русь сметает убийственный вал.
Ломоносов на горестной тризне
В одичавшей стране побывал.
.....
Стекленеет «Полтавская битва»,
И с мозаики капает кровь.*

Чем тронул Мастера творивший до Ломоносова талантливый князь Антиох Кантемир, сочинитель едких сатир, в которых «могучи найти знаки смысла здравого», в которых «хочу состарети, а не писать мне нельзя: не могу стерпети»? Жалящий неуклюжим, но не лишённым прелести старинным слогом? «Антикварные печали», старинные пороки — невежество, жадность, лицемерие, тщеславие... Любопытно, что в каждом стихотворении для каждого образа Скиф обычно выбирает соответствующую мелодию, но в случае с Кантемиром — наоборот: не тяжеловесные, а воздушные катрены летят, играют, кажутся блестящими шариками на новогодней ёлке:

*Антикварные печали,
Словно маленькие дети,
Жили долгими ночами
В тесноте библиотеки.*

*Мы читали, изучали
Антиоха Кантемира.
Звуки странные качались,
Словно крылья антимира.*

Эти легкие строки не выходят из головы, поются то мысленно, то полупшепотом — и вдруг звучит весёлое скерцо-шутка Баха из сюиты номер два! Случайно или совпало? Ах, как хочется, чтобы эта прелестная «газелла» стала прелестной песней...

И все же в чем смысл «антикварного Антиоха Кантемира» и этого молодого веселья? Возможно, в том, что пятьсот лет между легким золотом «Слова о полку Игореве» и стопудовым словом доломоносовского XVIII века — несмотря на то, что ордынцы не вмешивались в духовную жизнь Руси? О, волшебный русский язык, спасённый Ломоносовым!

СЛОВО о невероятной солнечной энергии **Пушкина**, воодушевлявшей добро

и обжигавшей зло. Немало героев в пушкиниане Скифа: тайная любовь поэта — внучка Ломоносова княгиня Мария Волконская («он тебя любил, но миру в этом не признался»); миловидная умница, влюбчивая несчастливица, «чудное мгновение» Анна Керн; верный друг и оплот Соболевский, в неверное время оказавшийся в Париже; Дельвиг, «ожидавший Пушкина в раю»; самый нравственный, самый эрудированный декабрист Кюхельбекер и многие другие, включая вечного секунданта Дантеса. И, конечно, Натали:

*Лукавый взгляд... Рука ли? веер...
Круженье, кружево балов.
Поклоны, крылья кавалеров...*

Лермонтов, боготворимый гений, в шестнадцать лет глубоко вздохнувший «Парусом одиноким», в котором сразу вместились вся его душа, вся судьба. Поэзия Мастера о Лермонтове — страстная, могучая, негодующая, пробивающая до слез. Ветер, ливень, раскаты грома, блеск зарниц — природа в ярости от убийства юного Гения, неведомого ранее планете Земля... «Над Машуком» — потрясающее творение!

*В стихах он был и вправду — равен Богу,
Он не творил — он с Богом говорил.*

Обобщения сильные, точные, в стихах — гнев и печаль; печаль не светла, но в исполнении Мастера — красива...

Недолгая яркая встреча с «ночным поэтом» **Тютчевым**, «глубоким, как истина, русским поэтом». А вот и **Фет!** «Уноси моё сердце в звенящую даль»... Сказитель шлёт привет ему, нежнейшему в поэзии, страстному в любви, прохладно-скупому в прозаическом бытии. «Какой восторг — так говорить уметь!» Со вкусом подбирает Автор воздушные глаголы своего эссе — их мерцанье созвучно трепету крылатых, «благовонных» элегий Афанасия Афанасьевича, познавшего «тайны вдохновенья», умевшего «хватать на лету звук, закрепляя и темный бред души, и трав неясный запах»:

*Спасибо, Фет, за то, что небо
И землю ты мне одолжил.*

Спасибо и Владимиру Скифу за прелестное, праздничное воспоминание о поэте-волшебнике, его открытиях тончайших переливов чувств, о его божественной музыке природы!

*Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.*

Звонят серебряные колокольца Серебряного века, в котором творило много праздных образованных господ, не познавших рутинный труд, ответственность, вивавших в эмпиреях, но умевших слагать великолепные стихи.

Бальмонт — «движение, вызов, сила». Поэт-праздник, «нескончаемая юность», музыкальностью поэзии, пожалуй, превзошедший Фета. Не только лирик, восклицающий: «Будем, как солнце!», но и «грядущего — вестник»: «Тише, тише совлекайте с древних идиолов одежды, Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет»... Феноменальный труженик, он обожал естественно-науч-

ную литературу, зачитывался трактатами о китайском языке, санскрите, об испанской живописи и утверждал, что поэт должен уметь «В весенний день сидеть над философской книгой, английским словарем, испанской грамматикой, — когда так хочется кататься на лодке и целоваться. Уметь прочесть три тысячи книг, среди которых много-много скучных».

*Благородный, безумный, капризный, изысканный,
Сам себя вызывавший сто раз на дуэль...*

«Ностальгией пробитый, забытый Бальмонт»... Но забыли не потому, что не достоин или по недоразумению, а потому, что бриллиант этот — русский, а русских принято забывать. Яркий и лаконичный образ, созданный автором «Древа», — один из лучших (а лучших — много) поэтических эскизов двухтомника. Живописный, эмоциональный, вместивший и судьбу, и характер феерического, не от мира сего, дарования, сочинившего невероятное количество стихов (20 томов). Большинство из них Блок советовал читателю истребить, чтобы не осквернять память о большом поэте, «ловившем мечтою уходящие тени», рассказавшем глаголами о безглагольном, невыразимом, поведавшем о «безмолвной боли затаенной печали... как будто душа о желанном просила, и сделали ей незаслуженно больно, и сердце простило, но сердце застыло, и плачет, и плачет, и плачет невольно...».

Искрометен, выразителен эскиз Скифа, ярко и стильно запечатлевшего поэта-конферансье, рёкшего «Я — гений Игорь-Северянин»:

*Недюжен. Дружен с эпатажем.
В салонах — первый и — второй.
Украшен, важен, напомажен,
Поэт-букет, поэт-герой.*

Игра «букета, сокрушительного снаряда» на публику, которой нравится жеманство, красавица, принцы и пажы... Зато сколько у «снаряда» чудотворных слов! Как пленительно звучание его поэт, героиз, полонезов, эпиталам, интродукций! «Январь, старик в державном сани, Садится в ветровые сани!».. «Я так бессмысленно чудесен, Что смысл склонился предо мной!». И даже «Эгополонез» простителен — поэт в образе! «Как плодоносны, как златотрубны Снопы ржаные Ваших поэт!».

В эмиграции — другой Северянин, уже не конферансье, ему не хочется дурачиться... «И зарыдаю, молясь весне, И землю русскую целую». Он обнаруживает присущее не всякому эмигранту понимание русского человека и России: «Что толку охать и тужить — Россию нужно заслужить!» — и в 1940 году пишет: «И тебя войною не раздавишь. Потому что ты жива не случаем, А идеей крепкой и великой. Твоему я кланяюсь могучему Солнечно сияющему лику». А как пронзительна оценка поэтов эмиграции в его «ноктюрнах»! Но не двусмысленна ли брошенная Скифом фраза: «Да, это он, пустивший корни в литературе глубоко»... Глубоко — это ирония? Или неточность? Так индо эдак, но «поэт-букет, поэт-герой», безусловно, оставил звонкий и яркий след в литературе, без которого наша поэзия была бы неполной, и весьма достойно благодарности напоминание Скифа о «нескромном эгофутуристе».

Мастер приводит читателя в «золотописьмо» совсем иного, но не менее эпатажного и замечательного творца, — «Председателя Шара всей Земли» Велимира Хлебникова. Сказанное Владимиром Скифом с симпатией и сочувствием сильно и достойно запоминания:

*Но смело полземли от пожара,
И — сквозь смрад — угасающий мир
Полз к ногам Председателя Шара,
Но спасти мир не смог Велимир.*

Погиб романтик, «будетлянин», в пути, но из далёкого далека как наследство доносится его голос: «Русь, ты вся — поцелуй на морозе! Слава Богу тебе... Ты — жива!».

Строки Скифа о последнем «из царскосельских лебедей», последней музе Царского Села **Иннокентий Анненском**, имеющем особое значение для русской культуры и поэзии. Их должно читать проникновенно и торжественно («Мы только с голоса поймем, что там царапалось, боролось»):

*Навсегда останется
Посреди комет
Иннокентий Анненский —
Бог или Поэт?*

Живой, энергичный стих Скифа лаконичен, но вместителен, побуждая запечатлеть и запомнить мудрость жизни и благородство высокого образа последнего директора Царскосельского лицея, лучшего лектора университета, поэта, воспитавшего стихотворчество Ахматовой, повлиявшего на Гумилёва и не только...

Мастер (Скиф) вспомнил, как в безденежные 90-е годы направился сдавать в «Букинист» восемь синих томов **Блока**, но, уже сдав, опомнился:

*Прости меня, великий гений!
Я, как летучую звезду,
Без колебаний и сомнений
Твоё собранье сочинений
Догнал и сдёрнул на ходу.*

И так из давнишнего эпизода с восьмитомником изваяно стихотворное чудо о великом поэте и блистательном литературном мыслителе, «по сердцу которого Его «Двенадцать» шли монстрами» и которые он страстно желал уничтожить. Печаль Скифа «Над ресторанами» — жемчужина русской поэзии:

*И мне всё горше пьется, плачется
Моя душа, как решето.
В нее уже никто не спрячется,
И не останется никто.*

*Никто в душе не обозначится,
Ни ты, мой друг, ни ты, мой враг.
Над ресторанами, где плачется,
Я упаду в глухой овраг.*

Душа Блока отлетела 7 августа 1921 года. Через 19 дней **Николай Гумилев**, кумир петроградской молодежи, монархист, неустранимый воин, стоя перед расстрелом, улыбался и докуривал папиросу:

*Значителен поэт, когда в поэте
Сидит любовно всажженный свинец!*

Ещё как значителен вместивший в одну недолгую жизнь десятки жизней, «спешивший по жизни, как по лезвию!» «Огненный столп», «принц песни», «соль общества», переплавлявший свои чувства и открытия в образы, рожденные странствиями, войной, воображением, глубиной духовного зрения. Философско-поэтический талант Гумилева кристаллизовался из феномена его многогранной Личности — воина-героя, путешественника, конквистадора, мыслителя, мужественного и красивого человека, не таившего: «Я — монархист». Его поэзия состояла из восточного, китайского, африканского, индийского, русского — он не успел осознать себя русским поэтом, не успел развить в себе шестое чувство, но уже шел к этому. Автор о Гумилёве сказал главное как об аристократе духа:

*Вы в нём врага России видели,
А он российской честью был.*

Он был обречен, как и другие звёзды русской поэзии.

«Так жизнь началась и любовь не парадная В парадной и грязной, опасной Москве», — боль Мастера о **Сергее Есенине**. В то время отправляться в Москву юным поэтам — все равно, что выносить самому себе приговор: в революционные двадцатые годы (как и позорные девяностые) шла селекция русского народа.

*Хулиган! Большевик! Скандалист!
Словно школьник, урок повторивший,
Словно мальчик из сказки лесной...*

Какие страшные персоны вьются вокруг нашего гения! Не один «черный человек», а более — черных-пречерных недочеловеков, не так давно расстрелявших Гумилёва! «Не послать ли, Сережа, их на хер?» — спрашивает Мастер, а читатель думает: «Таких разве пошлешь? А пошлешь, — не пойдут, но жестоко и жутко пошлют сами». «Страну негодяев» Есенин написал в 1923 году. За эту ли опасную правду он был казнён или за другие громокипящие правды?

*Есенин ненавидел вьюгу,
Но странный Черный человек
Прикидывался лучшим другом
И тут же превращался в снег.*

Одни из самых выдающихся листьев «Древа» — стихи о **Маяковском**. «Маятник магии, — мир обжигающий словом, как оловом, басом, как башнею»... «ростит окна, миллионит, шатаясь в облачных штанах», утёс в окружении ведьм, источающих аромат ядовитых лилий, — Маяковский наивно верит официальной версии о самоубийстве Есенина и даже официально расписывается за эту веру: «В этой жизни умереть не трудно. Сделать жизнь — значительно трудней», — учили мы в школе его слова. А кто из нас не верил в ту или иную неправду...

*Краски. Слово. Грифели...
Как смеялся — жуть! —
В «Окнах Роста» гибельный,
Гениальный шут.*

Предчувствие трагедии реет в воздухе, напряжение нарастает. И вот — вслед за Есениным, этот «железный человек, башня, этот бас» нажимает на курок... как Митя из рассказа Бунина «Темные аллеи», — из-за неразделенных чувств, оголтелой критики и прочих трудностей, неизбежных в жизни каждой активной

личности, вяще того — поэта. «Не верю!». Как не вспомнить «револьверную ноту фальши» Ярослава Смелякова... Не сейчас, так через несколько лет непременно нашелся бы черный человек, и не один, — приговор лучшим поэтам России обжалованию не подлежал:

*Я вчера Маяковского выпил,
И наполнил тоскою бокал,
Стекла в душей душе своей выбил...*

Так Россия, вместе с Владимиром Скифом, вспоминает великого агитатора, горлопана, главаря... Вспоминает Николая Клюева, Сергея Есенина, Сергея Клычкова, Петра Орешина, Алексея Ганина, Пимена Карпова...

Анна **Ахматова** — первая леди на женском мировом Парнасе, счастливая наша. Королева, ученица королей — Анненского, Гумилёва. Рожденная не из морской пены, а в генеральской семье, в стихии Пушкина, в блеске царскосельских фонтанов, дворцов, античных статуй, среди лучших умов, жившая в лучшем городе. Не расстреляли, не повесилась, во время Ленинградской блокады она в Ташкенте, не голодала, любили читатели. Сын сидел — выжил, стал выдающимся ученым. Судьба первой леди не трагична — не преувеличивайте, господа! Не печатали — временно, но скорби поспособствовали стать значительным поэтом. Скиф ласково посвятил ей восемь эклогов цикла, а экспрессия его «Русской речи» силой и точностью превышает «Мужество» Ахматовой:

*Неистовый ворог повсюду,
Как буйную голову с плеч,
И рубит с ухмылкой Иуды,
И губит державную речь.*

*Он хочет — о, русичи, где вы? —
Из нашего сердца извлечь
Старинных обрядов напевы,
Нетленную русскую речь.*

*Он вынет словцо, засмеется
И бросит его умирать.
Как часто ему удаётся
Великое слово попрасть...*

Цветаева... Кумир наивной, неискушённой юности, не знавшей, к счастью, другой Марины, которую не следует читать молодёжи, которая не полезна для неокрепшей морали и не хороша нравственно. Магистр поступил как истинный джентльмен по отношению к даме, подарив ей и нам чудесные логосы. О дурной энергетике — ни слова. И «В Елабуге» — отличный, преотличный стих! Одно из многих блистательных украшений «Древа», посаженного Владимиром Скифом, и гораздо точное: «...Пролетела, дружила — не служила, кружила, всполошила, «оставаться на чужбине до скончанья — не могла»...

*Ни уюта — ни тепла,
Прожила — судьбу прошила,
Точно острая игла...*

Если бы условный Эрнст Неизвестный делал памятник Цветаевой, он должен был бы сделать одну половину черной, другую — белой. Черная — жестокость ревности («Гора») и амурная распушенность. Белая — нравственная чистота, честность, прямота, бескомпромиссность, чувство родины и народа, духовная близость с Маяковским, адекватные оценки стремительного преобразования страны в 30-е годы...

Клюев. Богатство, начертанное Мастером о «сочном и грубом светиле поэзии» Николае Клюеве, — размашисто, свободно, чувствительно! «Эпический, страждущий, вечный. Клюев — святитель и воин в седле» — это «Песнослов» Владимира Скифа, равнодушного к Олонецкому богатырю, представлявшему после революции новокрестьянское направление. «Ты — корень Руси, потому непокорен»...

Великий Александр **Твардовский**... Эпоха, о которой он пел, закусив пулю, была более чем трагической, и великий поэт «снова умирал подо Ржевом». Он был поэтом не личной судьбы, а судьбы Родины, что и подчеркивает Мастер:

*Ночами с непокорного вихра
Судьба поэмы и стихи срывала.*

Могучие, одушевлённые стихи Твардовского о войне, которые наше поколение в детстве знало наизусть! «Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, Но как зовут, забыл его спросить!». Вместо этого великого, понятного детям стихотворения, наполненного смыслами, жизнью, героизмом, современные третьеклассники учат невнятный даже для взрослых стих неизвестной дамы о ее отце-белогвардейце...

Владимир Скиф обращает внимание и на другие стороны поэзии Твардовского:

*Он снова плачет о родном отце,
Как горько плачут русские березы.*

И находит верные глаголы, выражающие суть великого поэта и гражданина, который тревожился о родной земле «на том, как Тёркин, и на этом свете».

Младший современник Твардовского, Николай **Рубцов**, «уничтожен исчадьем зависти и зла» в самые тихие, мирные годы нашего Отечества. И «Страну негодяев» не сочинил, и явных врагов не было... сиречь безобидный человек... Мастер посвящает гению, — «ни в чем не знавшему половины: уж пел так пел», — десять рыдающих эпистол, в которых и судьба, и душа, и творчество:

*...Он пел, как будто пел Архангел,
Прощаньем полнились слова....
В ответ ему гудел Архангельск
И молча слушала Москва.*

*...Поэт, детдомовец, бродяга,
Жил, как цветок меж серых плит.
Собрал растений, птиц и ягод
Был в доме каменном убит.*

.....
*...Смотрит в небо Рубцов и таинственным знанием
Видит взорванный век и грядущего лик.*

*...Он расстался с тоскою и жизнью несытою,
С тихой Родиной, где страсти мира сплелись,
Где кровавыми звездами клюква рассыпалась
И стихами рассыпалась горькая жизнь.*

Вспоминает Мастер (Владимир Петрович, спасибо!) и о лучшем друге «Звезды полей», созвучном ему чистой и честной душой и с таким же громадным талантом, Анатолии **Передреев**. Его личная жизнь из-за нелепой иронии судьбы, ставшей философией случая, сложилась столь драматично, что гениальному поэту удалось написать лишь не более ста стихотворений (исключительно волшебных!) и несколько блестящих очерков о литературе. Ведь могло быть больше! Но остальное — переводы для заработка, для семьи. «В какую я впутался спешку, В какие объятия попал, И как я, под чью-то усмешку, Душою еще не пропал?!». Такие поэты, как Передреев, и такие стихи необходимы! «Не годы его погасили, а чёрного быта кинжал», — в этих строках Скифа много внутреннего смысла, зримого лишь посвящённым.

*...Нас вещице строки согреют,
Что жизнью оправданы всей...
Твардовский, Рубцов, Передреев,
И Прасолов свет-Алексей!*

Читатель входит в зал «Закалённые словесным оружием» — там писатели. Ощущение, — возможно, ложное, — что здесь еще больше динамики, и пульс бьется учащённей, и кажется, что ты — в другой реальности. «Яснополянское утро, Яснополянский рассвет» изумительно в своей простоте, лёгкости и свободе.

Золотой самородок советской литературы, самый романтичный, некабинетный и многослойный, рано ушедший в «загробующие века» Олег **Куваев**! Похвала Владимиру Петровичу за него — энтропия одолевает, начинаем забывать... Звонко, колокольчато о «русском книжном короле, фотомученике дивном» Аркадии **Елфимове**! Пока жив Великий Байкал, пока живы и помним творцов и героев, — «Родными быть на свете мы должны!».

Поток крылатых фраз, как звёздный дождь, падает на читателя из недр Ковчега.

*Стало небо черней во сто крат,
Но с земли его светом пронзает.
Это Коля Зиновьев, мой брат,
Нашу грешную землю спасает.*

«Угль, пылающий огнем» в сердце краснодарского поэта, боль за Отечество, уходящее за края бытия, что рвётся из сердца **Николая Зиновьева**, сливается с огненной болью Мастера, и их пламя плавит стекло...

А как животворно, как весело о другом парнасском брате, **Игоре Тюленеве**, которого Автор приглашает на Байкал и который «вышибает рифмой двери»!

*Мой друг забыл про все года
И в ночь метнулась борода
И до Байкала достигла.*

Сколько звонких имен из прошлого и настоящего! Николай Рачков, Анатолий Аврутин, с которым «стоически держим земное пространство»... Иван Молча-

нов-Сибирский, Ростислав Филиппов, Геннадий Гайда, Сергей Швецов... много-много других... Но на территории жуткого постсоветского времени на черном коне уже мчались юные Ольховские Юли...

«Иных уж нет», но живы святые воспоминания; искры жизни тех, кто далече, благодаря поэзии Скифа, сияют, с щемящей нежностью напоминая об ушедших...

* * *

В середине XIX века началось собирание и спасение сокровищ русской языковой культуры, наконец-то разрешенное (!) нашей иноплеменной (оксюморон!) властью, отторгающей истинно русское не только во время оно, но и ныне. Идея родилась еще при жизни Пушкина, в его ближайшем окружении, — возможно, самим Пушкиным. Собирали слова, пословицы, былины, фольклор, сказки... Героическая страница в культуре России девятнадцатого века! Долгие, утомительные путешествия на лошадях и пешком в самые отдаленные уголки России, недоедание, отсутствие элементарного комфорта, гибель Гильфердинга... Мастера следует чувствительно поблагодарить за образ Владимира Даля. Изячно и насыщенно, каждое лыко в строку, а главная мысль впечатляет и пробивает: подвиг Даля, его «дорога в даль, посох, сума». Итог — «Словарь» «из мудрых русских поговорок, из русской совести», из живых истоков русского языка...

Не обойдён молчанием и собиратель сказок Александр Афанасьев, и как же весело, остроумно, аки русский сказочник, восхитил Скиф читателя его образом! Успели спасатели-фольклористы! Собрали былины, слова, сказки, пословицы! Святые вы наши! Еще бы чуть-чуть...

«Картёжник, психоаналитик. Высокой истины ревнитель, Подёщик Родины. Старатель. Архистратиг в железном платье. Себя терявший и нашедший... Великий русский сумасшедший». Да, Федор Михайлович Достоевский. А с **Чеховым**, благодаря Скифу, читатель встречается в Иркутске. Мужественный Антон Павлович, живой, осязаемый, проехавший на лошадях по всей Сибири. Старый Иркутск с его «крепкими дворами», Байкал, Ангара — словно видишь это глазами Чехова, а Сахалин — сердцем и душой Чехова... Яркая, незабываемая встреча,строенная для благодарных читателей иркутянином Владимиром Скифом...

Во всем ужасе и блеске грянул XX век, явив несметное число гениев и героев и обнажив полчища подлецов... Сколько тем и идей обрушилось на писателей! Справиться с изобилием, разобраться в его сложности и выявить самую существенную для сочинителя идею-формулу бытия под силу только гениальным. **Булгаков** — один из них, и о нём глубокая стихотворная драма Владимира Скифа. Лепо, лапидарно, мудро: «создавший образ знаменитый, Несущий невозвратный свет Над человечеством, над Летой, Себя вписавший в торжество Высокой мысли, песни спетой, и воссоздавший волшебство».

*Нам чувствительно, Мастер, тебя не хватает:
Слишком много на свете еще подлецов.*

*Эй, вы, в вечных интригах погрязшие власти,
Посмотрите, как тихо в потемках грустит
С Маргаритой своей — уничтоженный Мастер,
А меж ними — невидимый Воланд сидит...*

Другой гений, любивший паровозы и технику, — Андрей **Платонов**, сказавший новое, бессмертное слово. Не так много изрек Скиф в своем поэтическом творении, но сказал главное: гений Платонова не проглядел **НОВОЕ** слово:

*Ах, слово! Для него ты — свет в окошке.
Тебя он в эти дни не проглядел.*

*Писал. Творил. Так гении творят.
Он жил в какой-то тесной боковушке.
Шутили институтские подружки:
— Наш дворник сочиняет, говорят!*

*А он входил с Природою в родство,
Сердечный вел урок чистописанья.
Бессмертие и слава, и признание —
Всё это будет! Только без него!*

Мощная, отчаянная «Память», сочинённая Скифом и посвящённая Владимиру **Чивилихину**, написана в 1982, но словно сейчас, — это пророчество Автора, видевшего то, что другим не дано было и казалось неправдоподобным:

*Над Отчизною кружится Лихо,
Добродетель уже не в чести...
И в атаку идёт Чивилихин,
Чтобы горькую память спасти:*

*— Эй, вы, русичи! Доброе сея,
Не продайте страну за гроши.*

.....
*...В нас судьба Куликовского поля,
Бородинского поля размах.
Ну, а нам уготована доля
Всей страной вырождаться впотьмах.*

А волшебный «Чеснок», кованный Иваном, подарок врагу?! Это творение Скифа воспринимается как чудо, словно бы созданное совместно с Чивилихиным! Читать всем это «золотописьмо»! Особенно — школьникам! Аморально — лишать их такого эстетического и духовно-патриотического удовольствия! А воспламенённому читателю не терпится воскликнуть: «Это — лучшее в книге!». Возможно, и не прав он, ибо «лучшего» у Скифа очень много, но воскликнуть хочется.

Легенды о **Шукшине** как скрижали Завета. «Неистовый талант, правдолюбец, тревожная совесть России», мечтавший о вселенском добре Василий Макарыч Шукшин. Легенда-сказание, и строки ее — могучие:

*Зарождается песня, сияет былина,
Пересвет или время летит на коне.
Вызревает легенда, как будто калина,
О таланте неистовом — о Шукшине.*

*В той легенде народной живут правдолюбцы,
Головой достигая алтайских вершин.*

*Их, пожалуй, что мало, но как они бьются!
Там за Воина Главного выбран Шукшин.*

Живая душа Писателя, артиста, кинорежиссера, правдолюбца, высокой Личности кружит над Алтаем, над своим домом, и невозможно не скорбеть о погубленном сыне России, который так необходим нам, которого так не хватает нам.

*В родном краю на берегах Катуня
Шальные ветры ищут Шукшина.*

СЛОВО о Валентине **Распутине**, возросшем на Ангаре, счастливо впитавшем с детства могучую красоту и дух Сибири, изучавшем в деревенской школе французский язык («Уроки французского»). Гудящие «Мировой Бедой байкальские дни одержимого в русском деле, несокрушимого в бою со злом и обретшего несть числа недругов» Валентина Григорьевича... Экспрессия всех произведений распутинского цикла высока, выражение чувств разнообразно; множество символов гибели природы, теснимой человеком... Волны образов создают острые эмоционально-смысловые эффекты — напряжение растёт, накал борьбы за Байкал усиливается, над тайгой — дым, «мертвые комья икры, голые ветви дрожат»...

*Низкий берег уже без травы,
И без дерева — берег крутой.
Наполняются черные рвы
Не живою, а мёртвой водой.*

*Над тайгой — удушающий дым,
Под водою кровавая тень:
Это гибнет последний налим,
Умирает последний таймень.*

*Как надгробье, плотина встает,
И, зажатая, стонет вода.
То не Братское море поёт,
А гудит Мировая Беда!*

Со сдержанным гневом, тревогой и болью пишет Автор об этих зловещих изменениях. А это лишь начало, 1980 год, но Мировая Беда уже шагала по земле, и Распутин «бросал в тугую грядку золотые семена Вдохновенного Слова»... Богатырь в деле спасения Отечества, русской культуры, русского языка, природы —

*...Он был выкован из стали,
И в русском деле — одержим.
Его враги об этом знали,
Испепеляли, шли в нажим...*

*А он был прост и гениален,
В бою со злом — несокрушим!*

«Вдруг оживут луга и доли, Сойдут святители с небес. Опустится плетень у школы, Заговорит убитый лес. Быть может, это вправду будет, И обновлённый мир вздохнёт?! Нам, грешным, Валентин Распутин — Матёру — каждому вернёт».

Россия будет спасена — и в этом несомненная доблесть и гордого, неуютного

для многих, деликатного и молчаливого в обыденном, но неукротимо взывающего о Родине, — открывателя Сибирской Атлантиды Валентина Распутина.

*Пора туман и подоплёки
Со смысла скрытого срывать.
Пора, пора орлиный клетот
В итыки и пули отливать.*

Пламенная, волнующая поэма Скифа о великом русском писателе, жившем вдали от мегаполисов, в глубине России... Восемнадцать насыщенных смыслами и содержанием «скифотворений» (так друзья называют стихи Владимира Петровича) о писателе, гражданине, воине, призывающем к свету и любви и дающем надежду, что выстоим, если будем сражаться...

Второй том

Второй том — другое событие. Он ошеломляет, бросая читателя из одного географического пространства в другое, перемещая на тысячелетия — к пирамидам Хеопса, во времена Ивана Калиты и Ивана Грозного, на концерты Шляпина, к художникам и композиторам — куда и к кому только не бросает! Кипит жизнь, бурлят и закатываются эпохи, государства рушатся, полководцы воюют, балерины танцуют, художники выдумывают, чем бы удивить мир, а писатели и поэты всё так же неутомимы и не выпускают из рук стило. Персонажи второго тома, идеи, ощущения, авторские оценки неожиданны — читатель стонет от обилия впечатлений и, не успев опомниться от одних героев, оказывается в компании российских друзей Автора. Как любит Владимир Петрович своих друзей, как хорошо ему с ними! Он раскрепощается, забывает об акцентах, метафорах, «озарённых неясностях» — они сами думают о себе и приходят, когда надо и куда следует. Легкий, мудрый, свободный, размышляющий, и строки его — золотые, крылатые, энергетика стихов — головокружительная... Обобщения, афоризмы, символы льются драгоценным фонтаном... Сказитель широко распахивает свою щедрую душу, и читатель вновь радостно убеждается, как дружелюбен Автор, как остроумен и как весело любит жизнь. А ее есть за что любить:

*Обозревая туч когорты,
От ветра заслонясь рукой,
Писатель Пакулов на горке
Стоял, как будто князь Донской.
Он день безветренный пророчил...
Стихало всё... Но между скал
Всю ночь булыжники ворочал
Волнами — увалень Байкал.*

(«Над Байкалом»)

Как прекрасно! Даже очень прекрасно! Но и дальше — чудо: «На рыбалке». Озорное, весёлое, переполненное юмором... потом долго-долго не можешь не улыбаться, вспоминая теплую компанию рыбаков, непойманного тайменя, забытые где-то сапоги...

*Рыбак кричит: — Рыбалку брось!
Вот здесь твой истинный престол!*

*Я на него, на стол взглянул
И бросил удочку тотчас.
Таймень в затоне хохотнул
И смехом озеро потряс.*

Открываешь байкальские поэзы Скифа — и в горницу врывается влажный воздух, слышишь рокот волн, видишь утёсы и камни — гладкие, омытые хрустальными водами; осязаешь таинственную, первобытную мощь байкальской стихии... «Тамара **Бусаргина**» — не всякий читатель знает эту героиню, чей идеальный образ каким-то волшебством сотворён автором, но сколько жизни, души, духовного тепла в этих четверостишиях!

*Я знанья свои в вашем доме упрочил,
Когда святорусскому слову внимал,
Я в вашей семье обретал средоточье,
И веру, и правду, и честь принимал.*

Не просто чувствуешь, а физически, даже мистически осязаешь дом, в котором живут эти светлые, благородные люди высочайшей старой культуры... Иметь счастье общаться с такими людьми в юности — большая удача. Цепко держится в душе это произведение, — возможно, напоминая читателю другой, похожий дом далёкого детства...

Задумчивые, философские эпистолы, посвящённые **Светлане Распутиной**:

*Да-да! Человек — это время!
В нем есть и восход, и закат.
.....
...Ты — время. Ты — Божье старанье,
Восторг его светлых трудов.*

Автор имел счастье общаться с такими личностями... со Светланой Распутиной, Валентином Распутиным, Александром Вампиловым, Глебом Пакуловым...

Бриллианты других эклогов — дар для Евгении **Молчановой**. Открытия и неожиданности, новое тепло, новые ощущения... А еще высочайшие в этом цикле и в русской поэзии: «Видно, в Чудное Мгновенье Ты на свете родилась». «Незнакомка» — поэтическое откровение.

*И я подумал: как жестоко
Уйти из осени, из Блока!
Знакомой для знакомых стать
И прежней тайной не блистать...*

Не только радость общения друзей и близких, но и совместная печаль...

*Только в горечи дни помутнели,
Будто Родина стала ничья.*

И до чего же щемяще-пронзительно воспоминание о встречах с Геннадием **Машкиным**, с Евгением **Суворовым**:

*Где он — в Великое Завтра — поход?
Где наша Родина — счастья глоток?
Синее море, пустой пароход,
Мы не поедem на Дальний Восток.*

Кунашир, Шикотан и Итуруп отстояли: в Конституции закрепили запрет на передачу территории иностранным государствам. Надо полагать, стих пробил слезу у кремлевских мужей, услышавших эту песню, щемящую, рвущую душу на части. Был и у читателя стих на эту тему; наверно, и у других был, а Слово делает чудеса... Но у Скифа это не стих, а песня — он поется, и надо петь со сцены, в нежном музыкальном сопровождении, немного изменив слова, учитывая новую конституцию, выразить печаль о чем-то другом, невозвратимом, и то невыразимо щемящее чувство, божественно переданное Автором, нужно открыть человечеству (например, вместо: «Мы не поедem на Дальний Восток» — «И замолчавший навеки гудок».)

Присутствие в ковчеге артистов и композиторов сначала удивляет. Но читаешь, вчитываешься, а там не красота ради красоты — она вплетена в вездесущую историю. Слышишь голос **Шаляпина**, в котором «смыкались века, преломлялись стихии», от которого «театры шатало и сотрясались века». Видишь среди шипов васильки Вадима Козина; «молодого, ветреного, вечного, стража уходящего времени» Валерия **Золотухина**, темнеешь над обращением к Николаю **Бурляеву** и к нам:

*Над страной бесконечно, бессонно
То в ермолках, то в кепках кружат,
Словно черные птицы — масоны —
И кровавое дело вершат.*

...Читатель в весёлой компании Цицерона и Нерона... Автор погружается в бочку Диогена, где ему приходит счастливая мысль: «Пора достать себя из бочки и золотить душою строчки». А теперь куда податься? — раздумывает неугомонный, выбравшись из бочки. И — приятная неожиданность: помчался к Василию **Крякутному**, воздухоплателю. «Первый на свете! Изобретатель, мечтатель, поэт!» Спасибо, Владимир Петрович, за Крякутного... надо знать и помнить своих героев, как умеют другие страны помнить своих.

О каждом персонаже — ярко, звонко, энергично, и трудно отказать себе в удовольствии здесь, в этом очерке, хотя бы упомянуть об этом каждом, но сие нерационально.

Протопоп **Аввакум!** Как мало мы знаем о великом строптивце, о беспоповщине, о хождении по кругу «посолонь», по солнцу, за которое он боролся, о других никоновских «исправлениях», творимых бродячими монахами-греками...

«Иван **Калита**», перенесенный из того времени в наше, — поэтический изумруд, одна из самых сильных и яростных скрижалей Автора. Читайте, друзья, читайте «Ивана Калиту»!

*«Господи Боже! Здесь бьют по своим!» —
Скажет Иван Калита напоследок.
И улетучится в небо, как дым,
И унесет наши с вами победы...*

Задор, живая энергия, молодость умных царей, начало и младость русского государства явлены в эклоге о первопечатнике **Иване Федорове**.

*Где друкарь наш? Какого чёрта
Ждем славы токмо от меча?*

*...Рассвет румяный и морозный
Над белокаменной вставал...
Ивана Фёдорова Грозный
В палаты царские призвал.*

Героиза «**Иван Грозный**» опечалила читателя, непреклонного в вере: вспоминая великих строителей Русского Мира — вспоминать великое и бесспорное. Новгородский погром, вменяемый в вину царю, имел обоснование, никем по сей день не опровергнутое: новгородцы вступили в сговор с Литвой, собираясь присягнуть литовскому королю. Время было жестокое, но кровожадность европейских правителей зело превышала жестокость Ивана Грозного, вызванную интригами бояр. И ведь далее, в следующем разделе, Автор будет самолично вменять Николаю Второму то, в чём отказал Ивану Васильевичу:

*Когда жестокость во спасенье,
Когда во благо — пулемет,
Тогда великих потрясений
В России не произойдет.*

Именно так, во имя спасения государства и действовал первый царь всея Руси. И не факт, что убил сына — нет ни единого доказательства! Зато врагов у царя — тьма, а пятая колонна и в те времена сама сочиняла историю, она любит это... Были убиты все жёны Ивана Васильевича (русские, кстати), убиты оба сына (!). Не наводит на размышления такая цепь случайностей, через толпу которой «пробивает себе дорогу закономерность»?

Гордо и восхищённо чеканит Владимир Петрович строки о нашем, родном, гениальном **полководце**:

*И словно приседали горы,
Мир превращался в пьедестал,
Когда на лошади Суворов
На скалы дикие взлетал.*

*...Он в бой летел в свистящей бурке,
Он небо саблюю кроил,
И перепуганные турки
Сдавали гордый Измаил.*

Какая экспрессия! И как органично, словно инстинктивно, без ведома автора, используются художественные приёмы! А читатель вспоминает стих Э. Багрицкого о **Суворове**, написанный в 1923 году, где «крылатый воин и орел», который у Скифа «под уздцы Победу вёл», изображен Багрицким непривлекательным старичком... Образы великих полководцев и героев лепить, следуя художественным капризам, — кощунство, пренебрежение их высочайшим статусом... Для великих — особые каноны, как для святых. Исполать Мастеру за Александра Васильевича!

Дерзкий читатель, алчущий, к чему придраться, входит в зал с названием «От жажды умираю над Вийоном», видит имена европейских авторов и щёлкает зубами: «И зачем эти европейцы? Сирано де Бержерак, Рембо, Бодлер, Аполлинер... А Франсуа Вийон? За что такая честь? И вспоминает, не без ехидства, Иозефа Кнехта из «Игры в бисер»: «Но в глубине души у нас тоска. По крови, ночи, дикости горит»... так вот зачем Мастеру нужен Вийон!». Переполнившись скепсиса, он читает:

*Друзья! Да здравствует Вийон,
Любите праздного Вийона!
Любите! Смейтесь, как и он,
Пишите горько и влюблённо!*

Лепо! Лепо! — тут же в восторге восклицает читатель и аплодирует Автору. Открывает эпистолы с названием «Генрих Гейне» и расплывается в улыбке: стихотворец Скиф трансформирует зарубежное на нашу почву, в наше время, творя особенное и самоценное. В «Генрихе Гейне» за основу взято знаменитое выражение немецкого поэта о трещине мира, прошедшей через его сердце:

*Не ощущается крепости жизни
В темном сцепленьи земли и небес.
Воеет душа об угасшей Отчизне,
Воеет, как пёс, обездоленный лес.*

*Крошится в пыль основание мира,
Горестей всех на земле не объять.
Вот и кричит, и пытается лира
Трещины мира любовью спаять.*

Гениально! Такую оценку читатель использует крайне редко и бережно, чтобы не истёрлась, а реакция не притупилась. Дочитав до конца, он готов извиниться перед Мастером за недоверие к его выбору и с тех пор всякого, кто берет в руки «Древо», предупреждает: «Не ищи случайное и лишнее! Здесь всё на месте и всё по делу!».

И вновь обращение к нашим, отечественным героям. **Николай Второй**. В противовес мягкотелости и нерешительности государя, Мастер энергичен и темпераментен, и отношение к царю выражает острыми, как меч, героизмами. Гнев переполняет его душу, обжигает читателя:

*Не будь спокойным, задушевным,
А будь разнuzданным царем.
Взъярись! — и выживут царевны,
И не запахнет Октябрем.*

«Столпы, столпы российские, Как скошенные, падают» — это о том, с кем «Родина могучая Была подобна глыбине», о «Петре Столыпине»... И вот до читателя издали доносится чей-то голос:

*Эй, разрушитель! Слышишь: по ночам
Сквозь в щелку в небе говорит Распутин:
— Ужо приду! Ужо воздастся вам!*

Огненный русско-царский цикл прерывается советской эпохой. Глаголы подступают к **Бронзовому солдату**, прах которого тревожат и в Латвии, и в Эстонии... Забудет ли поэт, забудет ли наш народ о массовом предательстве, охватившем бывшие республики, для которых было сделано столько полезного? Но поэт Скиф — оптимист, и наш Солдат:

*Шагнул два раза прямоком —
и вместе с Латвией исчезла
Эстония под сапогом.*

Забудем ли о псковской **Шестой роте ВДВ**, героически погибшей в неравном бою в Чеченской войне в 2000 году?

*Колокола замрут вдали,
И прокричит из-под земли,
И замолчит Шестая рота...*

Умолчит ли Автор о символе воинской чести девяностых годов, отважном **Викторе Алкнисе**? О, ярость — отчаянная, благородная, вскипающая, как волна:

*Какие к черту мы солдаты,
Когда ни флага, ни идей?
И не спасает нас ни атом,
Ни вера в собственных детей.*

*Когда растленно даже имя
Самой судьбы, самой страны...
Скажите, силами какими
Мы будем завтра спасены?*

Печально... много невыразимо печального... и благодарность стихотворцам и прозаикам, напоминающим и пытающимся выразить хотя бы малую долю пережитого. Чтобы не оставлять читателя в грусти, автор отправляется к художникам, композиторам, артистам — к русским, к заморским...

Перед входом в зал «Художник дарит нам полотна» читатель колеблется: «Зачем? Всех классиков знаю со школы — разве можно меня удивить? Проскочу без остановки!». Но совесть — зануда, следит за каждым шагом, сама отворяет дверь... а дальше остается лишь благодарить её... Да хоть за «Илью **Репина**!» Читаешь и — какой восторг! «О Русь! Ты гением воспета!». Гениальность наших художников, явленная в этом цикле, не сравнима ни с какими западными, и вызывает головокружение. «Крестный ход» Репина известен каждому с пятого класса, но Автор вскрывает невидимые ранее пласты, другие, новейшие смыслы. И как же гениальны стихи о «Красном коне» **Петрова-Водкина** — о времени, потрясениях, романтике революции, о молодой отваге, силе огня, о спасении!

*Но время меня торопило,
Пыталось железом меня...*

Читателю заново является «Красный конь», и как является!

*Взрывались в Нью-Йорке высоты,
В ночи колебалась земля...*

*Коня рисовал Петров-Водкин
И тот уносился в поля.*

А Орест Кипренский с его Пушкиным! Какие живые портреты, какие смыслы!

*Нас время, как художников, лепило,
Но что-то в нем кровавилось уже...*

И так — каждое известное полотно Скиф словно распечатывает, и самые знакомые творения становятся откровениями. Феноменальный волшебник и маг Виктор **Васнецов**, его великое полотно «Богатыри», «взвывшие глазом и сердцем, как будто в объятья неоглядную Родину». А гениальная «Сестрица Алёнушка», так пронзительно расширенная Скифом и насыщенная вечной печалью... Впору заплакать о многом множестве братцев Иванушек, превращённых и превращаемых в козлят, «скачущих резвым козлёночком» ...Детям для семейного чтения рекомендуется непременно...

*Сколько гордости русской и света, и боли
Вижу в этих холстах, вижу долю свою.
Я стою в Третьяковке, а может я в поле,
На распутье российском, как витязь, стою.*

Исполать Вам, русский витязь Владимир Петрович Скиф!

Последняя ветвь «Древа», самая сложная и ответственная, посвящена не литературе и искусству, а тем, от кого отчасти зависит её дух и содержание, кто руководит историей или влияет на неё, от кого зависят судьбы... Не хватает на ветви той, у коей в руках весы, меч, повязка на глазах — она изгнана из пространства текущей жизни, из наших параллелей и меридианов, где плодятся теперь те самые вуйки, о коих было упомянуто в начале повествования.

Заключение. Гениальный эпический труд Владимира Петровича Скифа «Древо с листьями имён» уникален во многих отношениях. Внутренняя наполненность его глубокой и высокохудожественной поэзией обладает магической силой, вызывает волны ассоциаций, наводит на размышления, входит в глубины сознания, открывает новые оттенки русской идеи, русской культуры, напоминает о вечных идеалах. Присутствие в «Древе» сочинений, посвящённых героям других цивилизаций, сопоставление с ними в стихии поэтических глаголов даже может способствовать лучше понять наше, родное. Гениальность русского человека, его творчество, героизм, душевная красота золотой нитью пронизывают страницы и, словно заново, в другой полноте, открываются читателю, вызывая новые чувства, обостряя духовное зрение. В картинах, этюдах и эскизах, созданных Автором, мерцают грани тревожного Русского Мира: вечная борьба с внешним врагом, любовь к Родине, мужество, настойчивое стремление к справедливости — нетленные русские коды, великие русские символы и драгоценности. Какой бы материи и эпохи не коснулся великий Мастер, какой бы тропой не пошел, — он возвращается к главному, к России, её идеалам и утратам, её боли и трагедии. Там, где грустит униженная доброта, затеплит лучину, чтобы её нежный, магический свет дал сигнал надежде...

Серебряный век восклицал, что поэзия должна служить не пользе, а красоте, и только ей. Это более чем спорно. Беспольная красота быстро утомляет, нервные клетки требуют пищи для размышлений, им нужно интеллектуальное горючее, и

душа жаждет разнообразных волнений. А «Древо» — именно синтез эстетического наслаждения и душевно-умственной пользы. Сколько переливов разных эмоций вкушаешь, любуясь узорами его зеленых листьев! «Древо» — еще и книга-будильник, ибо пробуждает и любознательность, и воспоминания — читатель возвращается к забытой полке с нетленными стихами и открывает их заново. Внимая вещим словам Мастера и перефразируя Льва Толстого, хочется возгласить: жизнь державного поэта Скифа не имеет смысла как отдельная жизнь, а имеет смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствует. «Древо с листьями имён» — это сплав души, мысли, любви и гнева, это боль и тревога, бесконечная тревога за будущее нашей Родины, нашего Отечества...

Читатель испытывает ощущение собственного присутствия в той или иной конкретной точке пространства рядом с гениальными или просто искренними, неподкупными людьми, исполненными добра и благородства. И даже присутствует ощущение, что в «Древе» находится коллективный портрет русского человека — сие подобно синергическому эффекту, намного превышающему простую сумму слагаемых. Этот ковчег, созданный талантом, эрудицией и трудом Владимира Петровича Скифа, может стать для пытливых читателей настольной книгой; он отражает дух нашей эпохи, вмещая в себя ее чаяния, отчаяние и высокую надежду. Нет сомнения, она будет интересна во все времена и станет частью культурного кода нации.

Да, скифы мы! — воскликнут хором друзья и единомышленники Скифа — и рухнет Вандомская колонна.